## Рождественский чулок Дика-Свистуна

О. Генри

Перевод Е. Суриц

Дик-Свистун с величайшей осторожностью приоткрыл дверь товарного вагона, ибо статья 5716 городского устава предусматривала (возможно, вопреки конституции) арест всякого подозрительного лица, а Дик чуть не наизусть знал этот устав. Поэтому, прежде чем выбраться из вагона, он окинул взглядом окрестность, как генерал поле боя.

Город не изменился со времени его последнего визита: все тот же многострадальный, странноприимный южный город, рай для продрогших бродяг. На насыпи, там, где стоял вагон, громоздились темные груды товаров. Ветер пропах знакомой вонью от старого брезента, укрывавшего тюки и бочки. Мутная река, вкрадчиво урча, скользила мимо судов. Ниже по течению у Шалмета[[1]](#footnote-1) была большая излучина — Дик видел ее по огонькам фонарей. На другом берегу длинной кляксой лежал Алжир[[2]](#footnote-2) особенно темный на фоне светлеющего неба. Трудолюбивые баржи, спешащие к утренним рейсам, истошно гудели, будто возвещая рассвет. Итальянские люггеры, груженные ранней зеленью и моллюсками, ползли к своему причалу. Смутным подземным гулом уже доносился сюда шум трамваев и телег; и паромы, золушки судоходства, нехотя приступили к своей черной работе.

Рыжая голова Свистуна вдруг скрылась в вагоне. Взор его не вынес ослепительного зрелища: огромная, несусветная фигура полисмена показалась из-за мешков с рисом и остановилась шагах в двадцати от вагона. Ежедневная мистерия рассвета, разыгрываемая над Алжиром, удостоилась внимания великолепного представителя муниципальной власти. С неколебимым достоинством он разглядывал занимающееся зарево, покуда наконец не поворотил ему спину, решив, по-видимому, что солнце обойдется без вмешательства закона и пусть его встает. Затем он оглядел мешки с рисом, извлек из кармана плоскую флягу и, запрокинув голову, стал обозревать небесный свод.

Дик-Свистун, по профессии бродяга, был почти на дружеской ноге с этим должностным лицом. Они уже не раз встречались на набережной, так как полицейского, тоже любителя музыки, привлекал изощренный свист жалкого оборванца. Однако же сейчас Дику не очень-то хотелось возобновлять знакомство. Одно дело встретиться с полицейским на заброшенной верфи и просвистеть с ним вместе арию-другую, а совсем иное дело попасть к нему в лапы возле товарного вагона. Поэтому Дик стал ждать, пока тот сдвинется наконец с места — ибо неумолимому закону движения подвластны даже новоорлеанские полисмены — и скоро Каланча Фриц величественно исчез за составами.

Дик-Свистун выждал еще ровно столько времени, сколько подсказывало ему благоразумие, а потом проворно спрыгнул на землю. Приняв — по мере возможности — вид честного труженика в поисках насущного заработка, он зашагал через рельсы, собираясь направить свои стопы по тихой Жиро-стрит к условной скамейке в сквере Лафайетта, где, согласно договоренности, он рассчитывал встретиться с дружком по кличке Ловкач, отважным пилигримом, на сутки опередившим его в вагоне для скота, куда завлекла его отставшая филенка.

Пробираясь между больших, вонючих, затхлых пакгаузов, где еще залегла ночь, Дик уступил привычке, которой был обязан своим прозванием. Тихий, но четкий в каждой ноте, как соловьиная трель, свист зазвенел прозрачно и нежно, будто среди скучных кирпичных громад запрятан водоем и туда стекают певучие дождевые капли. Сперва Дик завел было один мотив, но он тотчас утонул в вихре импровизаций. Тут слышалось и журчание горного ручья, и дрожь камышей над зябкой заводью, и голос сонной птахи.

Завернув за угол, Свистун наткнулся на синюю гору, утыканную медными пуговицами.

— Так, — спокойно заметила гора, — ты уже вернулься. А до мороза еще две недели осталься. И свистеть ты разушилься. Свальшивил в последней такте.

— Да чего ты понимаешь, — отвечал Дик-Свистун, отважившись на фамильярный тон. — Чего ты понимаешь в музыке? Вот давай еще послушай. Я во как свистел — слышь?

Он уже вытянул губы для свиста, но не тут-то было.

— Штой, — сказал верзила-полицейский. — Сначала научись. И сначала понимай, что в рваной кармане только ветер свищет и бродяга всегда будет свистеть в кулак.

Рот Фрица, пышно обрамленный усами, сложился в дудочку, и из недр его вылился звук, густой и сочный, как пение фагота. Он воспроизвел несколько тактов того мотива, который насвистывал Дик. Исполнение было холодноватое, но верное, и он особенно выделил покоробившую его ноту.

— Зи тут простое, а не зи бемоль. Кстати, скаши спасипо, што меня встретиль. Еще час, и я бы засадиль тебя за решетку; посмотрим, как бы ты в клетке свистель. Есть приказ после восход хватать каждый бестельник.

— Чего-о?

— Хватать каждый бестельник, кто не зарабатывай на хлеб. Тридсать дней или пятнадсать доллар штраф.

— Да ты правду говоришь-то или шутки шутишь?

— Послушай самый допрый совет. Я ведь знаю, ты не такой плохой, как другие. И «Der Freischutz»[[3]](#footnote-3) свистишь лучше, чем я сам. Но польше не натыкайся на полицай и поскорей удери из город. До свидания.

Значит, мадам Орлеан наскучил беспокойный чужой выводок, который ежегодно мостился к ней под теплое крылышко.

Когда огромный полицейский ушел, Дик-Свистун сперва помедлил, оскорбленный в лучших чувствах, точно выгоняемый из квартиры безденежный жилец. Он-то размечтался, как славно будет ему уже после встречи с дружком, без трудов и хлопот; с утра послоняться по пристани, подбирая рассыпанные при разгрузке бананы и кокосы; потом подкрепиться у стоек с бесплатной закуской, от которых беспечным хозяевам станет жалко или лень его отгонять; потом попыхтеть трубкой где-нибудь в парке под цветущим кустом и, наконец, прикорнуть в темном уголке на верфи. Но — ничего не поделаешь — его изгоняли строгим приказом. А потому, вовсю избегая встречи с синими мундирами, он начал отступление к сельскому прибежищу. И в деревне можно продержаться, только бы морозом не прихватило, а все прочее не беда.

Однако же Дик-Свистун шел по старому Французскому рынку в глубоком унынии. Безопасности ради он старался не выходить из роли честного мастерового, направляющегося на работу. Кто-то, не поддавшись на удочку, окликнул его из рядов: «Эй, бездельник!», — и когда удивленный бездельник оглянулся, торговец, растаяв от этого доказательства собственной проницательности, пожаловал ему ломоть хлеба, две сосиски, и проблема завтрака тем самым была решена.

Когда улицы, волею топографии, стали уклоняться от берега, изгнанник взобрался на насыпь и пошел дальше исхоженной тропкой. Пригородное око недоверчиво его сверлило, в каждом встречном жил суровый дух беспощадного нового указа. И нельзя было спрятаться от этих назойливых глаз, затеряться в толпе.

Так прошел он наобум шесть миль, и возле Шалмета его ошарашила грозная картина: тут строили новый порт, заканчивали пирс. Ходили лебедки. Тачки, кирки, лопаты со всех сторон нацелились на него, как удавы. Важный десятник оценивающе смерил его взглядом, как вербовщик новобранца. Чернокожие, темнокожие — все трудились в поте лица. Он в ужасе бежал.

К полудню он добрался до плантаций, — большой, печальной, молчаливой равнины, раскинувшейся подле могучей реки. Он оглядел поля сахарного тростника, огромные, без конца и края. Был самый сезон производства сахара, работали сборщики; телеги уныло скрипели им вслед; негры-погонщики ободряли ленивых мулов отборной и мелодичной бранью. По темным рощам, дальним и оттого подернутым синевой, можно было угадать, где жилье. Высокие трубы сахарных заводов вонзались в небо далеко одна от другой, как маяки на море.

Вдруг безошибочный нюх подсказал Свистуну, что неподалеку жарится рыба. Как пойнтер на куропатку, устремился он вниз по насыпи, прямо к костру легковерного и почтенного рыбака, которого он пленил своими рассказами и потому отобедал по-царски, а затем по-философски свел на нет три худших дневных часа, вздремнув под деревом.

Когда он проснулся и продолжил свой исход, сонное тепло дня сменилось острым холодком, и такое предвестие промозглой ночи заставило скитальца ускорить шаги и призадуматься о ночлеге. Он шел по дороге внизу насыпи, послушно повторявшей все ее повороты и ведущей неведомо куда. По бокам, до самой колеи, она заросла кустами и буйной травой, и из этой засады взлетала и кружила над Диком несносная мошкара, жужжа гнусными, тоненькими голосками. И по мере того, как подступали тьма и холод, комариный плач превращался в жадный, надсадный вой, вытеснявший остальные звуки. Справа от Дика, на фоне неба, как на экране, всплыл зеленый огонек, потом мачты и трубы идущего в порт парохода. А слева были таинственные топи, откуда неслось странное гуканье и придушенные стоны. Чтоб разогнать злых духов, Свистун пустил веселую трель, — наверное, с тех давних пор, когда сам Пан наяривал на своей свирели, глухое уныние этих мест не нарушалось подобными звуками.

Сзади донесся неясный рокот, который почти тотчас обернулся быстрой дробью копыт, и Дик шагнул на росистую обочину, пропуская лошадей. Оглянувшись, он увидел ладную упряжку вороных и щегольскую коляску. Впереди сидел седоусый здоровяк и не спускал глаз с натянутых вожжей. Сзади помещались немолодая дама с добрым лицом и очень хорошенькая девушка, почти ребенок. Полость сползла с колен седоусого господина, и Дик заметил у его ног два здоровенных мешка — слоняясь по городам, Дик навидался таких мешков. Обычно их бережно вынимали из закрытых фургонов и вносили в двери банка. Кроме того, экипаж был до отказа набит свертками всевозможных видов и размеров.

Когда коляска поравнялась с бродягой, шалунья с блестящими глазами, уступив лукавому порыву, вытянула шейку, нежно, ослепительно улыбнулась и пропела дискантом: «С Рождеством вас!» Такое нечасто случалось с Диком-Свистуном, поэтому сначала он опешил и не знал, как тут надо ответить. Но долго размышлять было некогда, и он сделал первое, что пришло ему на ум: сорвал с головы продавленный котелок, широко взмахнул им и выкрикнул вслед улетавшей коляске громко, но уважительно: «Ишь как!»

Наклоняясь, девушка сдвинула один сверток, он развернулся, и на дорогу упало что-то длинное и черное; Дик подошел поближе и поднял новый тонкий шелковый чулок, роскошно и нежно зашуршавший у него в руке.

— Вот девка-то, а! — сказал Дик-Свистун, и вся его веснушчатая физиономия расплылась в улыбке. — Нет, ты подумай, а? С Рожеством, стало быть, вас! Как кукушечка из часиков прокуковала. А вороные-то — до чего ж хороши, а старый-то мешки с деньгами пинает, будто с яблоками они сушеными. Накупили, выходит, всего к Рожеству, а она чулочек-то и оброни, какой Санта-Клаусу припасла. Вот девка-то! С Рожеством! Ты подумай! И так просто, как «здрасте вам» сказала, а все одно заметно, что тонкая штучка.

Дик-Свистун бережно сложил чулок и сунул в карман.

Только часа через два набрел он на жилье. За поворотом дороги показались строения огромной плантации. Он легко распознал обиталище хозяев в большом широком доме с высокими, яркими окнами, раскинутом на два крыла, сплошь опоясанные верандой. Дом стоял на ровной лужайке; из комнат лился неясный свет. Усадьба была обсажена прекрасной рощей. Вдоль стен и заборов рос густой, запущенный кустарник. Бараки для рабочих и склад располагались сзади, в некотором отдалении.

Вдоль дороги теперь с обеих сторон шла ограда, и, подойдя поближе к домам, Дик вдруг стал и принюхался.

— Или где-то тут готовят харч для нашего брата, — сказал он сам себе, — или мой нос уже ни к черту не годен.

Не долго думая, он перемахнул через ограду туда, откуда несся запах. Он попал на заброшенное место, где валялись кучи старого кирпича и всякого хлама. В уголке он заприметил отблеск почти выгоревшего костра, а вокруг него различил смутные очертания лежащих и сидящих людей. Он подошел поближе и при свете вдруг вспыхнувшей головешки ясно разглядел оборванного толстяка в темной кофте и шапке.

— А малый-то, — пробормотал про себя Дик-Свистун, — ну чисто Гарри Бостонец. Попытаю, не он ли самый.

И не успел он просвистеть несколько тактов фокстрота, как мелодия была подхвачена и тотчас окончилась особой руладой. Первый солист уверенно приблизился к костру. Толстяк поднял глаза и молвил хриплым, задыхающимся голосом:

— Господа, какой приятный сюрприз. К нашему обществу присоединился мистер Дик-Свистун, мой старинный друг, за которого я полностью ручаюсь. Пусть слуга принесет еще один прибор. Мистер Свистун разделит нашу трапезу и тем временем объяснит, какому счастливому стечению обстоятельств мы обязаны его присутствием.

— И не надоест тебе язык-то чесать, Бостонец? Ну как по писаному! — сказал Дик-Свистун. — Ладно, на приглашении спасибо. Попал я сюда, видать, тем же путем, что и вы. Меня нынче фараон шугнул. Работаете тут, или как?

— Гостю, — сурово отвечал Бостонец, — не следовало бы оскорблять хозяев, покуда не набил себе брюха. Чтоб не уйти не солоно хлебавши. Работаете! Ладно уж, я сдержусь. Мы пятеро — я, Глухой Пит, Моргунок, Пучеглазый и Том-Индианец вчера узнали, что мадам Орлеан задумала недоброе против заезжих джентльменов, топчущих ее грязные улицы. И как только их укрыли нежные крылья сумерек, окутывая их и всякое такое, мы пустились в путь. Моргунок, будь любезен, передай пустую банку от устриц господину с пустым желудком.

На следующие десять минут внимание туристов всецело поглотил ужин. В огромном пятигаллонном керосинном баке они изготовили жаркое, которое отведывали из менее крупных банок, подобранных на пустыре.

Дик-Свистун давно знал Бостонца, и знал, что ловчей и удачливей его не найти во всей братии. По виду его можно было принять за деревенского лавочника со средствами или зажиточного гуртовщика. Крепкий, здоровый, круглолицый, он всегда гладко брился, аккуратно одевался и особенно исправно чистил башмаки. За последние десять лет он заслужил репутацию несравненного мастера по части мошеннических проделок и не уронил себя ни единым днем работы. Среди его соратников шел слух, будто он скопил кругленькую сумму. Остальные четверо были типичнейшими представителями того обшарпанного, зачумленного племени, которое открыто красуется под этикеткой «подозрительные лица».

Вот они выскребли последние остатки жаркого, прикурили от головешек, а затем двое из них отвели Бостонца в сторону и стали ему что-то таинственно нашептывать. Он уверенно кивал, а потом обратился к Дику:

— Послушай, друг, разговор к тебе есть. Мы тут на дело выходим. Предлагаю вступить в долю. Получишь на равных с ребятами, только помоги. Двести работников завтра утром должны получить недельное жалованье. Завтра Рождество, и они хотят отдохнуть. Им хозяин сказал: «Поработаете с пяти до девяти утра, соберете сахару на целый поезд, и я с каждым расплачусь за неделю и еще за день в придачу». Они говорят: «Ура!» Он едет в Новый Орлеан и привозит наличные. Две тысячи семьдесят четыре доллара и пятьдесят центов. Это я узнал от одного малого, который не умеет держать язык за зубами, а ему сказал бухгалтер из банка. Хозяин думает, что он эти денежки выплатит работникам. Да только ошибается он. Он их нам выплатит. Они останутся, как и положено, в руках у праздного класса. Половину возьму я, а другую половину вы разделите между собой. Ты спросишь почему? Я — автор. Я придумал план. Значит, так. У хозяев сейчас гости, но они к девяти уедут. Они на часок-другой заглянули. Если вовремя не уберутся, все равно будем исполнять мой план. Нам нужна целая ночь, чтобы смыться с долларами. Они тяжелые. К девяти Глухой Пит и Моргунок пройдут по дороге за домом четверть мили и подожгут поле, где тростник еще не убран. Ветер сейчас хороший, и оно разгорится за десять минут. Поднимется тревога, и все тут же сбегутся тушить пожар. А в доме останутся одни женщины, и денежки — к нашим услугам. Слыхал ты, как горит тростник? Так трещит, что ни одной женщине не перекричать. Дело верное. Только вот нас могут догнать уже с деньгами. Ну а если ты...

— Бостонец, — перебил его Дик-Свистун и поднялся на ноги. — На угощении спасибо, а теперь я, это, пойду.

— Почему же? — спросил Бостонец и тоже поднялся.

— На меня не рассчитывай. Так и знай. Оно, конечно, я бродяга, а чего другого за мной не водится. Не мое это дело — грабить. Спокойной вам, значит, ночи и спасибо на...

Дик уже отступил на несколько шагов, но вдруг остановился как вкопанный. Бостонец наставил на него крупнокалиберный револьвер.

— Прошу садиться, — сказал вожак, — хорош бы я был, если б из-за тебя испортил всю игру. Ты останешься тут, пока мы обстряпаем дело. Смотри, не двинься дальше той кучи кирпича. Шаг за кучу — и я вынужден буду стрелять. Лучше держись, брат, поспокойнее.

— А я всегда спокойный, — сказал Дик-Свистун. — Мое дело такое. Опусти-ка свой револьвер, и будет тебе. Я, это, как в газете пишется, остаюсь в ваших рядах.

— Ладно, — сказал Бостонец и опустил оружие, когда Дик снова сел на доску, торчавшую из штабеля дров. — Только не вздумай удрать. Я от своего счастья не откажусь, даже если придется ради него ухлопать старого приятеля. Сам я зла никому не желаю, но уж очень мне эта тысяча долларов кстати! Брошу бродяжить и открою бар в одном хорошем городке. Надоело мыкаться.

Гарри Бостонец вынул из кармана дешевые серебряные часы и стал разглядывать их у огня.

— Без четверти девять, — сказал он. — Ну, Пит, Моргунок, приступайте. Пойдете задами по дороге и подожжете тростник со всех сторон. Потом взберетесь на насыпь, вернетесь по ней, а не по дороге, и никому не попадетесь на глаза. Когда вернетесь, все уже убегут гасить пожар, а мы сразу в дом, и — денежки наши. Давайте выкладывайте спички.

Пит и Моргунок отобрали спички у всей компании, причем Дик с большой готовностью внес свою лепту, и двое мрачных оборванцев при тусклом свете звезд двинулись в сторону дороги.

Двое из оставшихся, Пучеглазый и Том-Индианец, уютно развалясь на кучах мусора, разглядывали Дика с нескрываемым осуждением. Бостонец, решив, что неверный никуда не денется, несколько ослабил свою бдительность. Свистун поднялся и стал бродить взад-вперед, строго соблюдая предписанные ему границы.

— А почему ты знаешь, — спросил он, останавливаясь перед Бостонцем, — что хозяин деньги-то домой привез?

— Я располагаю фактами, — ответил Бостонец. — Он ездил в Новый Орлеан и получил их сегодня, это точно. Что, передумал? С нами пойдешь?

— Нет, просто так спросил. У него какая упряжка-то?

— Пара вороных.

— Коляска?

— Угу.

— И женщины с ним ездили?

— Жена и дочка. Ты для какой газеты интервью берешь?

— Просто для разговору спросил. Вроде они меня, это, на дороге обогнали.

Продолжая свою скромную прогулку подле костра, Дик нащупал в кармане чулок, поднятый на дороге.

— Вот девка-то, — пробормотал он, усмехаясь.

Между деревьями ярдах в семидесяти от костра он различил хозяйский дом. Сквозь большие окна лился мягкий свет, озаряя просторную веранду и часть лужайки.

— Что ты сказал? — встрепенулся Бостонец.

— Да так я, ничего, — отвечал Дик-Свистун и беспечно пнул носком башмака камешек.

— Простая такая, — тихонько рассуждал странствующий музыкант сам с собою, — и веселая, и самостоятельная, и шику-то, шику! С Рожеством вас. Нет, ты подумай, а?

В столовой Бельмидской плантации между тем подавали обед.

Столовая со всем ее убранством говорила о том, что прежние времена живут здесь не в памяти, а в обиходе. Посуда так поражала роскошью, что не будь она к тому же старинной и изысканной, она могла бы показаться безвкусной; подписи тонких мастеров украшали портреты на стенах; кушанья тут готовили такие, что у любого гурмана потекли бы слюнки; гостей обносили бесшумно, проворно и обильно, как в те дни, когда слуги были собственностью, как сервизы. Имена, какими хозяин и гости адресовались друг к другу, значились в анналах двух наций. Манеры и разговор носили тот особенный характер простоты, что дается всего трудней, — простоты с соблюдением этикета. Хозяин служил, казалось, тем генератором, который вырабатывал главную долю остроумия и веселья. Молодежи нелегко было отражать огонь его добродушных насмешек. Правда, не один юноша отваживался штурмовать его укрепления в надежде завоевать улыбку дам; но даже если кто и посылал меткое копье, хозяин обрушивал на удачливого острослова такие громы хохота, что тот чувствовал себя побежденным. Во главе стола, невозмутимая, почтенная, благожелательная, царила хозяйка дома, к месту улыбалась, бросала нужное слово, ободряющий взгляд.

Беседа легка перекидывалась с одного на другое, и ее здесь трудно передать, но вот речь зашла о бедствии, занимавшем с недавних пор всех плантаторов в округе, — о бродягах. Хозяин не преминул осыпать жену градом шутливых упреков, обвиняя ее в том, что она способствует распространению заразы.

— Каждую зиму берег ими так и кишит, — сказал он. — Забивают весь Новый Орлеан, и нам достаются излишки, то есть самое худшее. Но несколько дней назад мадам Орлеан вдруг обнаружила, что в лавку не может выйти, не перепачкав юбок об оборванцев, загорающих на ее тротуарах, и заявила полиции: «Хватай их всех». Ну полиция схватила десятка два, а остальные три-четыре тысячи разбрелись по дорогам, и здешняя госпожа, — он трагически указал на нее серебряным ножом, — их кормит. Работать они не хотят, они даже не вступают в разговор с моими людьми и вступают в дружбу с моими псами; а вы, сударыня, кормите их у меня на глазах и не позволяете мне вмешиваться. Скажи, дорогая, вот сегодня скольких ты уже толкнула на путь безделья и порока?

— Шестерых, кажется. Но ведь двое, — возразила хозяйка, тоже улыбаясь, — хотели работать, ты сам слышал.

Хозяин только расхохотался в ответ.

— Хотели. Но по специальности. Первый — мастер по производству бумажных цветов, а второй — стеклодув. Извольте видеть, ищут работу! Но по специальности, иначе они и пальцем не двинут.

— А еще один, — продолжала сердобольная госпожа, — так прекрасно говорит. Просто редкость среди его класса. И часы носит. И жил в Бостоне. Нет, не верю я, что все они плохие. Просто, по-моему, они недостаточно развиты. Мне они всегда представляются детьми, у которых ум перестал расти, хотя и растет борода. Сегодня, когда ехали домой, мы обогнали одного такого: совершенная наивность и доброта написаны на лице. Он свистел интермеццо из «Cavalleria»[[4]](#footnote-4) так, что ощущался дух самого Масканьи.

Девушка с блестящими глазами, сидевшая слева от хозяйки, наклонилась к ней и проговорила, таинственно понизив голос:

— Интересно, мама, нашел тот бродяга мой чулок или нет? А вывесит он его сегодня? Я-то могу только один вывесить. Знаешь, почему мне вдруг понадобилась еще пара шелковых чулок? Тетушка Джуди говорит, если повесить два ненадеванных чулка, Санта-Клаус набьет один всякой всячиной, а месье Памб положит в другой чулок плату за все те слова, — добрые и злые, — что ты говорила накануне. Вот почему я сегодня со всеми вдруг такая милая и вежливая. Знаешь, месье Памб волшебник, он...

Слова ее были прерваны самым неожиданным образом.

Как некий призрак падающей звезды, черная лента, пробив стекло, взвилась над подоконником, со стуком упала на стол, смела со скатерти много хрусталя и фарфора, а потом через головы собравшихся метнулась к стене и напечатлела на ней зазубрину, так что и ныне всякий гость Бельмида дивится, глядя на нее и слушая эту историю.

Женщины взвизгнули на разные голоса, а мужчины повскакали из-за стола и непременно схватились бы за шпаги, если б их не сдерживали рамки хронологии.

Хозяин первым пришел в себя.

— Боже! — воскликнул он. — Метеорологический галантерейный ливень! Уж не установлено ли наконец сообщение с Марсом?

— Скорей... гм... с Венерой, — отважился юный гость и в надежде на успех оглядел девиц, но те остались безучастны.

Хозяин вытянул руку, и в ней закачался нарушитель спокойствия — длинный черный чулок.

— В нем что-то есть, — объявил хозяин. Он взял его за носок, потряс, и оттуда вывалился камень, завернутый в пожелтевший листок бумаги.

— Итак, впервые в нашем веке — известие с другой планеты! — крикнул хозяин, кивнул обступившим его гостям, с нарочитой тщательностью поправил очки и стал читать. Не успел он кончить, как разом превратился из любезного хлебосола в решительного делового человека. Он тотчас затряс колокольчик и приказал бесшумно явившемуся на звонок мулату:

— Поди скажи мистеру Уэсли, пусть возьмет Рива, Мориса, десять рослых надежных работников и идет с ними к крыльцу. Скажи ему, пусть люди захватят оружие, побольше веревок и ремней. И пусть поторопятся.

И только затем он вслух прочитал то, что было написано на листке.

«Господа хорошие,

Кроми меня на дороги у пустыря пять бродяг. Мне грозят пистолетам и я исбрал такой спосоп. 2 парня пашли паджеч тростник за домом вы пойдете тушить а они ограбют деньги какие работникам привезли и убигут. Чулочик девочка на дорогу абронила скажите ей с рожеством как она мне сказала. Сперва их поймайти на дороги а потом меня вызволяйти.

Истинно ваш Дик-Свистун ».

В последующие полчаса в Бельмиде были без шума проведены быстрые маневры, в результате которых пятерых негодующих бродяг схватили и засадили во флигель ждать утра и возмездия. Второй результат — неслыханный восторг девиц, вызванный отвагой и решимостью молодых людей. И еще одно: поглядите на героя Дика-Свистуна! Он сидит на пиру у плантатора, и его потчуют яствами, о каких он прежде и не слыхивал, за ним ухаживают представительницы прекрасной половины человечества, исполненные такой прелести и «шику», что, несмотря на набитый рот, он едва удерживается от свиста. Его заставили подробно рассказать о столкновении со страшной шайкой Бостонца, о том, как ему удалось написать записку, обернуть ею камешек, сунуть в чулок и метко запустить, подобно комете, в одно из ярких окон столовой.

Хозяин поклялся, что страннику уж не придется более странствовать; что доброта его и честность достойны всяческих наград; что он перед Диком в неоплатном долгу, ибо разве не спас он его от огромных убытков, а быть может, и еще горших бедствий? Плантатор заявил, что отныне Дик предоставлен его заботам, что ему тотчас подыщут должность, соответственную его способностям, и усыплют розами его путь к процветанию и почестям, какие только доступны в пределах плантации.

Но теперь, решили все, Дик утомлен и прежде всего ему надо отдохнуть и выспаться. Хозяйка отдала распоряжение слуге, и Дика препроводили в ту часть дома, где располагались людские. В комнату к нему тотчас внесли цинковую ванну с водой и опустили на клеенку. И скитальца оставили одного.

Он осмотрел комнату при свете свечи. На кровати под аккуратно отогнутым уголком покрывала сверкали белоснежные простыни и подушки. Старый, но чистый красный ковер устилал пол. На комоде стояло зеркало, на умывальнике — расписной таз и кувшин; по углам — стулья, обитые чем-то мягким. На столике были книги, бумага, свежие розы в стакане. На полочке висели полотенца, лежало мыло в белой мыльнице.

Дик-Свистун поставил свечу на стул и аккуратно спрятал шапку под стол. Удовлетворив свою любознательность (что же еще?) тщательным осмотром, он снял пиджак, скатал и положил на полу к стенке, как можно дальше от непрошеной ванны. Использовав пиджак в качестве подушки, он роскошно раскинулся на ковре.

В день Рождества, когда первые лучи рассвета засияли над топями, Дик-Свистун проснулся и стал привычно нащупывать шапку. Тут он вспомнил, как его подхватило накануне развевающимся подолом Фортуны, встал, подошел к окну, отворил его и подставил пылающий лоб дыханию утра, чтобы освежиться и удостовериться, что все это ему не приснилось.

Но вот робкого слуха его достиг зловещий шум.

Все рабочие плантации дружно взялись за нынешний труд, чтоб пораньше освободиться. Могучая поступь страшного Владыки — Труда сотрясала землю, и наш бедный Сказочный Принц, навеки скрытый под жалкими лохмотьями, схватился за подоконник — даром что стоял в волшебном замке — и задрожал всем телом.

Уже грохоча перекатывались бочки с сахаром и (в точности как в тюрьме!) гремели цепи — это с бранью сгоняли мулов на их места у сторожков телег. Злобный крошечный паровозик с плоскими вагонетками на буксире пыхтел и пускал пар по узкоколейке, толпы рабочих, едва различимых в сером утреннем свете, ухая и крича, грузили поезд недельной выработкой сахара. Тут поэма, сказанье — какое! целая трагедия, и труд, проклятие человечества, — главная ее тема.

Несмотря на декабрьский холодок, Дика прошиб пот. Он высунулся из окна и посмотрел вниз. По цветочному бордюру он сообразил, что там, в пятнадцати футах от него, — мягкая земля.

Осторожно, как взломщик, он влез на подоконник, повис на руках и благополучно спрыгнул на землю. Кажется, вокруг никого не было. Он согнулся в три погибели и помчался через двор к низкой ограде. Ужас придавал ему крылья, и через ограду он перемахнул с той же легкостью, с какой газель, преследуемая львом, перелетает через терновый куст. Бросок сквозь росистые придорожные травы, дальше, оступаясь, вверх по скользкому склону на насыпь и — свобода!

Светлел и алел восток. Ветер, сам бездомный бродяга, ласково потрепал собрата по щеке. Высоко над головой прокричали дикие гуси. Заяц трусил впереди по тропке и в любую минуту мог повернуть хоть направо, хоть налево — куда вздумается. Мимо скользила река, ни одной душе, конечно, не догадаться куда.

Взъерошенная темногрудая пичуга на кизиловой ветке завела было нежную, тоненькую, гортанную песню во славу росы, выманивающей дурней-червяков из их укрытий; но вдруг она умолкла и, склонив голову набок, прислушалась.

С тропки, что шла по насыпи, несся веселый, ликующий, захлебывающийся свист, он пробирал и будоражил, он был четок и прозрачен, как чистейшие ноты флейты. Парящий звук журчал и рассыпался, как не принято в птичьем пенье, но была в этих звуках дикая, свободная прелесть, и темной птахе вспомнилось даже что-то знакомое, хоть и неясно что. Птичья зоря, сигнал побудки, известный всем птицам на свете. Но он был щедро приправлен бессмыслицами, ведомыми только искусству, — странно и совершенно непонятно зачем. И темная пичуга сидела, склонив голову набок, покуда звук не замер вдали.

Того не знала пичуга, что ради этих-то трелей, которые она разобрала, музыкант отказался от завтрака; зато она сразу смекнула, что трели непонятные ее совершенно не касаются. А потому она взмахнула крылышками и пулей метнулась вниз на жирного червяка, вившегося по тропке вдоль насыпи.

1. Национальный исторический парк в Новом Орлеане. [↑](#footnote-ref-1)
2. Район Нового Орлеана. [↑](#footnote-ref-2)
3. «Волшебный стрелок» *(нем.)* , опера Вебера. [↑](#footnote-ref-3)
4. «Cavalleria Rusticana» («Сельская честь») — опера итальянского композитора Масканьи. [↑](#footnote-ref-4)